



СЕРИЯ:
ОРЛОВСКИЕ
МАСТЕРА
СЛОВА

84(2=411.2)6
3-80



МАСТЕР
ЛЕОНАРДО

ЛЕОНАРДО ЗОЛОТАРЕВ

к 84/2 = 417 2/6
3-80

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

МАСТЕР ЛЕОНАРДО

A285231
16+



Волна

БУКОО

«Орловская областная научная
универсальная публичная
библиотека им. И.А. Бунина»

УДК Р
ББК 84(2)
3 81

3 81 Золотарев Л. М.
МАСТЕР ЛЕОНАРДО
- Орел: Издательский Дом «ОРЛИК», 2015
с- 40

Под редакцией проф. П.С.Выходцева

Из «Истории русской литературы» (учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык и литература» - М., Высшая школа, 1986).

Среди жанров прозы, в которых современность и современник художественно исследуются прежде всего с точки зрения нравственных отношений, пожалуй, наиболее активную роль играет рассказ. К нему обращаются почти все писатели. Особенно плодотворно работают в этом жанре С.Антонов, Ю.Нагибин, С.Шуртаков, Е.Носов, Вл.Солоухин, Ю.Казаков, В.Белов, В.Личутин, В.Крупин, Г.Семёнов, Л.Золотарёв, В.Лихоносов, В.Конечкий и др.

Пётр Лукич Проскурин в предисловии к сборнику «Костровый пояс» (Тула) написал: «У Леонарда Золотарёва есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одарённость. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ. Два-три рассказа из этого сборника, а также другого – «Мёд из подснежников», изданного в Туле, что называется, сразу же делают имя человеку в литературе».

Ольга Константиновна Кожухова

«Писателя всё привлекает, он внимательно слушает речь хранителей разного рода преданий, легенд, песен, петых их предками Толстому, Тургеневу, забытых обрядов. Так рождаются рассказы «Берестяные песни», «Глинописец», «Ливенка» и другие. Стихия живого народного языка органично вплетается в ткань произведений, однако без модничанья, без щегольства, а с большим чувством меры, позволяющим нам уже сейчас, по одной этой первой книге писателя, судить о его несомненно серьёзном даровании».

Лиризм и реальность изображаемого, поэтический язык отличает рассказы молодого писателя от многого читанного на ту же тему. Его книга заставит читателя и задуматься, и загрустить, и порадоваться нелёгкому, но добытому честным трудом счастью героев».

© Золотарев Л. М., 2015

© Издательский Дом «ОРЛИК», 2015

5-МА-ЛЕ-30-ЛЕ

Из книги «Орловская Лавра»

У Толстовского родника

Кочеты лежали тремя отдельными деревнями. Главная дорога вводила меня в бывший помещичий сад, где теперь восьмилетняя школа.

Сад как сад, обветшалей обычных. Щемящее чувство заброшенности усиливается, лишь спустишься к пруду, на поддонный голос лягушек. Цветы водосбора — розовые, синие — колотят головками по коленям, плечо трогает куст волчьей ягоды, когда намекнувшейся тропкой врезаешься в околопрудные заросли.

С трёх сторон пруд охвачен зелёной подковой, с четвёртой — в отдалении хаты. Ивы, орешник, ракиты, береговая трава кое-где заходят в самую воду.

- Смотрите: какая же синяя! - с восторгом говорит Егор Кириллович - из здешних, лет сорока пяти, лобастый, с живыми глазами, подрядившийся показать мне Кочеты.

- От глубины?

- Да. И от чистоты... Лев Николаевич Толстой наезжал сюда в последние годы к зятю - помещику Сухотину, к дочери, которая была за ним замужем. К Тане. Говорят, Толстой любил этот пруд. Сиживал здесь вечерами... Да вон на том бугре живёт Фроловна, она ему хоры и собирала.

И вновь мы идём через заросли. Предки Егора Кирилловича были здесь крепостными, гнули спину, может, и в этом саду, а вот он, Егор Кириллович, теперь в родимых местах учитель истории, директор той самой школы, что глянула на нас из-за старых лип большими и чистыми окнами. За разговором мы углубляемся в сад. Слабо угадываются аллеи, чернеют дубовые пни в два ряда — плоские, словно столы, на которых можно отобедать



не меньше как пятерым. А кругом самосев, он развился в подлесок, в частые тощие клёны. Под ними ровная зелень хвоща. Сочится ключами берег. Всё тенисто и сумрачно, и немного таинственно. Где-то здесь похоронена внучка Толстого.

- А вот и родник, - останавливается Егор Кириллович. - В народе бают: если пить эту воду - укрепляется зрение, проясняется разум. Этой стёжке уже тыщу лет. Ходил к роднику и Толстой

Вода как вода. А смотришь в неё - как не задуматься? А задумаешься - обольёт она душу и заставит замедлиться в жизненном беге, просветлеть в мысли: а как и чем живёшь ты, человек?..

От родника стёжка выводит к школе. Липки перекрывают натоптаный двор, делают его зеленовато-тенистым, уютным. Давно уж пропали старые, сухотинские липы, это их отпрыски. В классах, куда заходим, на столах охапки сирени, бело-розового водосбора. Шёл экзамен по литературе. На доске полустёрто написанное мелом - темы, наверно. Не по Толстому ль? Вот за этой партой сидел какой-то кочетовский мальчишка, морщил облупленный нос, и брезжил перед ним в своей смутности сложный человеческий путь...

Тележный след поднимался к строениям. Я поразился тому ощущению свободы и лёгкости, которое давалось простором и неоглядностью, открывшейся с сухотинской усадьбы, обсаженной дубняком. Даль синела слоями километров на двадцать, у горизонта пытел паровозик.

- Благодатное, Марьино, - кивнул неназойливый Егор Кириллович. - Лев Николаевич писал: если бы Наполеону пришлось давать сражение в этих местах, для своей ставки он непременно бы избрал Кочеты. А это амбар. Смотрите - замчище. Говорят, времен Льва Толстого. А здесь стоял каретный сарай. А вон там подвалы. Вековые. Думалось, не будет им слову....



Егор Кириллович как-то никнет. Энергия, которой наполнилась вся его небольшая плотная фигура, пропадает, лицо становится мягким и вялым. Проходим мимо обветшалых подвалов. К флигелю. Здесь когда-то была библиотека, вот у этих оконцев читывал книги Толстой. Серый кругляк, обшивавший кирпичные стены, кое-где обвалился, обнажив бурую кладку. Время расшатывает и её. Один угол строения сторел, другой подгнил и осаживается.

Егор Кириллович оживает, когда речь заходит о делах школы, совхоза, о передовых кочетовцах. Прошлое переплетается у него с настоящим, о прошлом он говорит так, словно это было недавно, вчера.

- А это вот что? - отвлекаюсь я, глядя на заросли диковинных растений у флигеля: лист разлапист, как у подсолнуха, но не шершав, глянецвит.

- Может, лекарственное? - гадаем мы с Егором Кирилловичем. - Иль декоративное?

- Груша это, - подходит старуха, - груша и есть... Земляная. Господа зря сажать не будут.

- Настасья Фроловна Федосеева, - наклоняется спутник ко мне, - урожденная Сенюшкина. Луке Артёмычу Сенюшкину, здешнему революционеру, двоюродная сестрица.

- Так вы сестрой ему будете? - спрашиваю я и настраиваюсь на долгий разговор.

- Да. Двоюродная, - поджимает сухие губы старуха.

- Старинную жизнь помните?

- А как же ж, помним. - Голос у Фроловны ещё сильный и ровный, глаза смотрят с прохладцей, словно бы изучают нового человека. Лицо строгое, с тонкой, прозрачной кожей. - Помним и братца своего, и Льва Николаевича. -И начинает сразу, как-то заученно:

≡ **ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ • МАСТЕР ЛЕОНАРДО** ≡

- Я была у господ подрядчицей, набирала девок дорожки подбивать в парке, за цветниками ухаживать. Начинали от круговых дорожек у пруда и шли выше, сквозной аллеей, до господского дома.

А насчет этой груши... Господа эту самую грушу частью тут потребляли, частью отсылали куда-то. И ещё спаржкой занимались. Сеяли во-он на том месте, где сейчас Танька Скворцова живёт... Но, скажу, хоть и был у меня деверь в поварах у господ, а какие-такие бисквиты эта самая спаржа и груша - не знаю, не пробовала. Сурьёзный был наш хозяин - Михал Сергеич...

И вновь поджимает губы Фроловна. Они уходят куда-то внутрь, и тогда острее становится подбородок, выделительней нос, в уголках губ ложится жёсткая складка.

- И вот появляться у нас начал Толстой. - Старуха глядит, не мигая, и всё в одну точку, вызывая в памяти воспоминания. - Так, сам он вроде мужик: в длинной светлой рубахе, борода надвое раскидывается... Приезжал со своим врачом Душаном Петровичем, до осени и гостил... Любил с Лукой Артёмычем, с моим братцем, беседовать. Подрядился, помню, Лука крышу господскую красить. Слезет с крыши разводить краску, а Толстой разговор и затеет. И сидят на плетёных диванах под илим-деревом, всё толкуют да кофий ли, чай ли там пьют. А про что толковали — не знаю. Лука Артёмыч тогда уж с большевиками водился. А вскоре Лев Толстой пришел в деревню Весёлую, собрал всех мужиков да вот так и скажи:

- У помещиков, у зятя моего Сухотина, сейчас всего много, на серебре едят. А у народа куска нет. Нехорошо. К чему это привести может?

А вот и привело. Брат-то мой, Лука Артёмыч, ушёл из деревни в матросы, долго от него вестей не было, а потом пошли кругом митинги. Слышу: в уезд приехал мой братец. Побежала туда, а там в кумаче улицы и знамёна, словно хоругви, и Лука



Артёмич что тебе генерал: не подступись. Народ стеной за ним, и все с револьверами! Слух прошел: власть Советскую Сенюшкин провозглашает... После к нам в Кочеты приехал коммуны устраивать. Жизнь всю прежнюю переиначили...

С какой-то тайной грустью говорит Фроловна о прежнем. Как все прежнее волнует её. Почему? Да ведь то её молодость, золотистые косы.

- А ещё хотела сказать, - шевелит губами старуха, - любил Лев Толстой слушать всякое. Сойдутся мужики у господского дома, присядут в кружок и затеют про то да про сё. Да вон деды, Квасов и Золотухин, соврать не дадут, их спросите...

Утром Егор Кириллович запрягал мерина, взятого ещё с вечера на совхозной конюшне. Мы отправлялись к дедам, на вторую деревню. Солнце уже припекало, препятствовало току сырости с пруда. По двору равнодушно ходили куры. Время от времени на яблоне встряхивался скворец, принимался бить крыльями и квохтать по-куриному, представляя куриную панику. Егор Кириллович швырнул на дрожки соломы. Сидел, поджав под себя по-татарски ноги, и снова был оживлён. А дрожки всё тряслись, все звенели колесной чекой.

- Вон то, - показал он через минуту на приземистое, деревянное зданьице, - вон то была школа. Построена для крестьянских детей дочерью Льва Николаевича...

Взобравшись на бугор, проехали полем, въехали во вторую деревню. От колодца, видим, идёт старичок.

- Силён, гляжу, ты, полковник, сам ещё воду носишь, - здороваётся Егор Кириллович и в полголоса мне: - Петрович. К нему и ехали.

- Почему полковник? - спрашиваю и я тихо.

- Да ить как не ходить, коли дело велить, - опускает вёдра старик и быстро взглядывает на меня. - У нас в деревне кто коров стережёт, тот и полковник. Вчера был мой черёд.

Проходим во двор, садимся на лавку.

≡ **ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ • МАСТЕР ЛЕОНАРДО** ≡

Весь он - в рыжем своём пиджаке, в диагональных галифе, в растоптанных кирзовых сапогах - острый, сухонький, рыжеватый, словно провяленный солнцем. По тёмной шее разбегается сетка морщинок.

- Человек вот интересуется, - кивает на меня Егор Кириллович, - как ты, по просьбе Толстого, на свадьбе фореитром ездил?

- Ха-ха-а, - живо смеётся старик, и светло-зелёные глаза его влажнеют. - Ньюшка! - кричит он неожиданно звонко супруге в сторону огорода.— Поди покличь Золотухина!.. Вдвоём будет сподручнее, - поворачивается Петрович ко мне.

- С Лёвом Толстым, - вздыхает, - как вот с вами встречался. Я ходил тогда уже в женихах. Лёв Толстой, говорили, супротив помещиков шёл... Ньюшка, ты пошла к Золотухину?

- Сейчас, - доносится с огорода.

- От дьяволица! - хлопает себя по коленке Петрович. - Не разгонится... Так вот, Лёв Толстой всё больше с нами возжался, с крестьянами. Заходил что ни есть в бедную хату. Любил особенно к знахаркам. Была тут одна у нас - Любава Васильевна. Святой водицей лечила. А другая, Ульяна, та слово знала от козюль и от бешенства. Ньюшка! - кричит он опять на огород.

- Чего тебя мучит-ломает?! - жена его неожиданно выходит из сенцев и, невозмутимая, плывёт мимо нас, через выгон, к золотухинской хате.

- Книжонками снабжал нас, а то сам читал кой - когда. Поди сюда, скажет, Димитрий, послушай, что я тебе почитаю. А потом спросит: ну как, брат, понятно?

С того края выгона движется Золотухин - высокий, степенный, худой. Несёт тело ровно и бережно. Присаживается, гладит ладонями серебристо-чёрную бороду. Говорит он мало, давая выговориться дружку.

- Про свадьбу-то расскажите, - не терпится мне.



- Про свадьбу? - не спешит выпускать главный козырь Петрович. - Это можно. - Наконец начинает: - Давно это было. Ещё в женихах я был... Так вот, приехал Толстой к нам сюда, в Кочеты. И вздумалось ему сыграть крестьянскую свадьбу. Не настоящую, а так, посмотреть. И чтоб, так теперь рассуждаю, в книгу. Мы играли свадьбу, а Лёв Толстой всё записывал...

Закрыв глаза, я слушаю голос Петровича и вижу всё это так явственно.

На сей раз Лев Николаевич приехал сюда на целое лето. Скрылся у дочери от домашней опеки, от досадных расспросов Софьи Андреевны о завещании, от всего надоевшего... Отцветая, в парке ржавела сирень. Пахло майской землёй. Как всё было здесь просто и хорошо. И снова жилось надеждами, и близка была молодость, когда устами Оленина выразил он такие слова: «Счастье, вот что, - сказал он себе, - счастье в том, чтобы жить для других... В человеке вложена потребность в счастье. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие! Любовь, самоотвержение!»

В этих крестьянских избах, на виду перелесков и долов, с прежней властью поднималась в нём потребность исканий, быть единым с людьми, думать их думами, любить их любовью.

В этот приезд, когда на душе было особенно смутно, он хотел видеть народное празднество, общее ликование. Может быть, новым страницам суждено будет стать лучшим из всего, что было писано прежде?



Зашумело игрище в Кочетах, томившихся до покоса в некотором неуделии. С женихом трудностей не было, а невесту сыскали не сразу. Наконец, уговорили одну из замужних - Анну, горничную. Послали сватов. Ударили по рукам.

Запестрел луг цветными платками, панёвами. На столах - черепняные чашки, деревянные ложки толщиной в детскую руку, из «казёнки» бутылки, немудрящая деревенская снедь: холодец с хреном, пшённая каша, варёное мясо, шипучие квасы...

Все ждут свадебный поезд. Десяток крестьянских подвод, украшенных лентами и кумачом, выехали в поле. За околицу. К хлебу. Гремит под дугой колокольчик — «дар Валдая». Первым на своем буланом - приосанившийся Димитрий. Летят мимо Душана Петровича, мимо Льва Николаевича. Встречают от венца мать-отец, провожают к столу молодых. Ни жива, ни мертва сидит Анна в своей жаркой панёве, в золотистом кокошнике. Величальную ей заводит девишник:

*У нас ягодка красна,
Земляничка хороша,
На пригорочке росла,
Супротив солнца зрела.
Ах, кто ж у нас,
Ах, кто ж у нас разумница?
Ах, да Аннушка умна,
Аннушка да разумна...*

А за столами — веселье. Звон бутылок да пересмешки. Кто-то с кем-то перебросился словом, кто-то залился краской, кто-то, захмелев, затевает невесте свою величальную:

Конопель ты моя, конопёлочка...

На него шикают. Высоко и прозрачно ведут женские голоса величальную жениху:



*Летел голубь, летел сизый
Со голубушкой.
У голубя да у сизого
Золотая голова,
У голубки, у голубки
Позолоченная.*

Наливается силой, плывет молодым величальная, и в такт общей песне начинают качаться ряды — плечо в плечо, плечо в плечо:

*У ворот сосёночка зелёная,
Зелёная сосёночка земляная.
У Захара жена молодая
У Яковлевича дорогая...
Белу свету сына породила,
Она свекору, свекрови угодила.*

Долго ещё в уже потемневшее небо, в звёзды летят широкие крестьянские хоры, пересмеиваются балалайки, плачут пискуньи-ливенки. Плывут по лугу хороводы. Бежит карандаш по сереющим в сумерках строчкам. Лев Николаевич закрывает записную книжку, довольный — кладёт свободную руку за пояс блузы...

- Ньюшка песни вам эти сейчас и представит, к-хе, - откашливается Петрович и возвращает меня в сегодняшнее. - Ньюшка! Да где же она? - суетится Петрович. - А вон у золотухинской хаты лясы, гляди, с бабами точит. Ньюшка-а!

- Сичас, - не спешит отзываться его супруга.

- А вон-он, за хатами, - оживает степенный Золотухин, - лесок Бездонный. Там ложок двухрукавный. Порточки мы называем... Так вот в сенокос Лёв Толстой в те Порточки похаживал. Возьмёт у кого-либо косу, попробует. Не умеешь косу блюсти - враз поймёт. У тебя, говорит, незакладная.



У другого возьмёт: у тебя хороша. И пройдёт несколько строчек. Умел мужицкую работу...

- Нюшка!! - перебивая его, опять суетится Петрович.

- Ну, сейчас, сейчас, - отвечает супруга с того края выгона.

Наконец, приближается к нам. - Чего взмыкался?

- А ты спой человеку песни, какие на свадьбах певала.

- Дак это давно, — ломается Петровичева жена, - это ещё при Толстихе, когда она новую школу построила.

- Во-во, - вскидывается Петрович, - новую школу!.. А за то, что фалетором был, Лёв Толстой заплатил мне десятку, а жениху пятнадцать, а невесте двадцать пять рублей. А Анну мужик после бросил. Пошло про неё по деревне: Захарова, дескать, жена да Захарова, сам Толстой венчал. Так и бросил мужик её. И Захар не женился, бобылём всю жисть прокрутился. Так-то вот. Да... У меня в святом углу патрет Толстого. Смотрит этак сурьезно, ровно святой. А у сына, так у того есть железный столик, за которым Лёв Толстой сиживал. Из музея приезжали, просили — не отдал...

- Помрём скоро, - вздыхает Золотухин и трёт кулаком сырое, приотставшее веко. - Ничего не нужно будет.

- Как это не нужно? - подскакивает Петрович. - Пока живы, всё нужно. И стол, и патрет, и Лёв Толстой...

Прощаясь с Кочетами, я ещё раз пришёл к амбару, к обгорелому флигелю, к уютной, вместительной школе. Заглянул в окно: на доске детской нетвёрдой рукой было написано: «Широка страна моя родная». Со всех трёх деревень сюда, в запретный когда-то сад сухотинский, сходились ребяташки - потомки тех, давнишних крестьян. И снова виделось далеко. Дорога была вся в ракигах, струящихся на ветру серебром.

22 сентября 1967 года



ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ • МАСТЕР ЛЕОНАРДО



Казачи. Дети Солнца.

« Мы идём с конём по полю вдвоём »

Широкий казачий круг под Мценском, и песня звучит под баян:

*Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён.
Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лён,
Мы идём с конём по полю вдвоём.*

Виктор Садовский поднимает баян над головой.

*Эй, станичники! Донцы - молодцы!
Кубанцы - бубенцы! Пойте, пойте, ребята,
Во все свои широкие глотки,
Славьте родную Россию свою!*

Каждый год собираются тут они, орловские казаки. Каждый год душу бережат историческим прошлым своим, укрепляя вековые традиции на любимой Орловщине, в которой слились теперь казаки всех краёв и весей.

Вот хомутовские-судьбищенские на конях во главе со своим атаманом Алексеем Семёнычем Злобиным.

Вот кубанский казак Виктор Фёдорович Садовский с баяном, с которым и он тоже сросся, как казаки с конями.

А вот и я бы сюда всей душой, донской казак, с пером своим летучим, как с шашкой над головой.

Широкий казачий круг. Широка душа, широка страна моя родная...

Вернулся Виктор Фёдорович на Кубань свою, объехал с баяном 33 штата Америки, прошёл по Европе, пропагандируя русскую песню. И с Кубани сюда, на Орловщину, где учился в музыкальном училище, институте культуры и искусств. Чтобы стать настоящим, профессиональным музыкантом, композитором,



собирателем русских народных песен. Здесь, в Орле, у него дом и большая, дружная, песенная семья.

Каждый год собирается Виктор Садовский к себе туда, на Кубань. Доложить землякам, как он тут держит марку кубанскую, чем занят, что у него получается, а что ещё требует сил и внимания. Неожиданности случаются. Думал, что он музыкант, исполнитель, пишет песни на чьи-то слова, а попробовал на свои, вышел у него сборник «Берёзы мценской стороны» (1988г.). Оценили его положительно. Решил Садовский попробовать себя в стихе. Издал в «Вешних водах» книгу стихов и переводов (2000г.), затем книги стихов «Оберег», «Органная высь», статьи в газетах пошли. Увидел сам, что получается, все это увидели. Пригласили Виктора в отдел культуры областной газеты «Орловская правда». Вот где раскрылся, можно сказать, его главный талант - публициста.

И тут стали публиковаться у него очерки о талантливых людях Орловщины. Интуицией дошёл он до сознания того, что о талантах надо писать талантливо. Вот хотя бы очерк обо мне. Одно название чего стоит. «Мастер Леонардо из Малоархангельска». Сразу приковывает к себе внимание. Посмотрите, какой стиль, тут и метафоры, глоссы, эрудиция, слитность мыслей и чувств, и всё это эстетика, ощущение гармонии, красоты.

«Он не причисляет себя к композиторам, которые мучаются часто очень долго в поисках нужной интонации или гармонической краски. Его мелодии рождаются сами, одновременно с текстом, и воспринимать их нужно именно так, в таком синтезе. В этом смысле он сродни античным аэдам, древнерусским певцам - сказателям, таким, как легендарный Гомер, песнопевец Боян. То есть можно говорить о продолжении Леонардом Золотарёвым античной, древнерусской традиции былинно-эпического жанра, где автор текста, музыки и исполнитель представлены в одном лице, а тематика музыкальных повествований отражает то, что происходит в данное время с соотечественниками, стра-



ной и даже всем миром. Им создана «Звуковая поэзия мира», из десятков аудиокассет - музыкальное зеркало звездочётов земли».

То же самое я мог бы сказать и о самом Викторе Садовском. Это песнопевец Боян. Особенно в журналистике. Недаром членом Союза журналистов России он стал прежде, чем членом Союза писателей России. Откровенно говоря, он человек многих способностей и щедрой души. Написал я немало авторских песен, но не мог положить их на ноты, сделать их фактом профессионального звучания. А Виктор Садовский смог это сделать, не в пример другим, к которым не подступись. Он положил на ноты целый сборник моих стихов. Да не только мне, но и ещё, я знаю, одному «страдальцу» - сочинителю песен из Змиёвки.

И ещё такое качество широкой души Виктора Садовского. Он любит людей, стремится к ним, он всегда среди масс. И не только потому, что у него такая профессия: по диплому Виктор - дирижёр народного хора. Дирижировал хоровым коллективом в Отраде, на сталепрокатном заводе, областным народным хором, где, возможно, и развилось это его качество: тяга к людям. Считаю, что это всё у него и врождённое. Ну кто просил его передать черты характера, частичку души своей Виктору Викторовичу Кузьминову - агроному из мценского Подбелевца? Послушайте, как играет Виктор Викторович на баяне, как он может сплотить людей вокруг себя, создать коллектив, как звучит у него русская песня.

Вот с каким багажом вполне может ехать Виктор Садовский туда к себе, на Кубань. Есть ему что показать землякам. Краснеть за своего казака тут у нас, на Орловщине, им не придётся. Вот он и ездит туда каждый год и везёт всё новые и новые достижения. Не так давно там на Кубани, а конкретно в Тамани, известной по лермонтовскому «Герою нашего времени», состоялся грандиозный праздник, посвящённый 27 векам этого греческого поселения.



Виктор Садовский, как всегда, одел свой казачий чекмень с газырями, подцепил к поясу кинжал и вместе со своими старичниками, с войсковым старшиной Львом Анатольевичем Яковых отправился на берег Чёрного моря. Повёз на краевой праздник свои песни, сочинённые им тут у нас на Орловщине.

*Вишня. Старый верстак.
Шепчет дед, словно молится:
«Бог, Россия, казак -
Неделимая троица».*

Вот и к нам сюда, в наш степной городок Малоархангельск, приезжает он 6 июня, на День рождения Пушкина, этот ныне всемирный праздник, объявленный ЮНЕСКО Днём русского языка. И что мы читаем? Конечно, Пушкина. И что мы поём? Конечно, народные, казачьи песни, то с этой начинаем, то с другой.

*Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня!
По бескрайнему полю моему,
По бескрайнему полю моему.
Полюшко моё, родники,
Дальних деревень огоньки.
Золотая рожь да кудрявый лён,
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён.*

А придёт домой к нам, что на той же улице, где и памятник Пушкину, пойдём в сад с Садовским, сядем за стол под моей материнской яблоней, да как растянет Виктор меха баяна, как грянем мы песню:

*Распрягайте, хлопцы, коней!
По Дону гуляет казак молодой.*


ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ • МАСТЕР ЛЕОНАРДО


А я вспомню ещё и песню из военных лет, из лета 43-го, когда услышал я такую песню от казаков, встреченных мною на конях у колодца.

*Где-то там, далеко за Волгой,
Догорают небывалый бой.
Потеряю я свою кубанку
Со своей удалой головой.*

Виктор скажет мне:

- Слушай, друг, спиши песню. Хочу знать её, буду петь.
 - Спишу,- скажу, - напою тебе на магнитофонную ленту.
- А потом опять же как грянем:

*- Маруся, раз-два-три,
Маруся, раз-два-три,
В саду ягоду брала!*

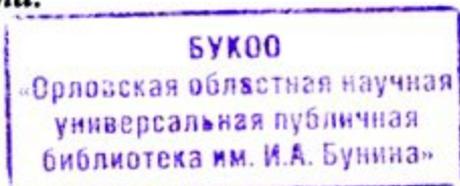
И птицы примолкнут в нашем саду, и даже хор соседей - ветераны- бабушки на лавочке и их солист-тенор Алексей Иванович Агарков, и те, бывало, затихнут, нас с удивлением слушают и интересом. На полгорода летят наши песни, до самого Парка Победы, где лежат герои войны. А соседка Валя Кононова скажет мне через загородку:

- Ну и много же, наверно, вы получаете за такие песни!
- Внучку свою хочу отправить в музыкальную школу.
А мы с Садовским переглянёмся, перемигнёмся:

*- Маруся, раз-два-три,
Маруся, раз-два-три,
В саду ягоду брала.*

A 285231

17





Перейдём в дом, в комнату, где Садовский мои песни на ноты клал, а тут четыре стены со всех сторон, а не как в саду вокруг свободное пространство. Тут-то на тебя и навалится что-то странное, необычное и в то же время привычное, что враз меняет картину, переводит душу в другое состояние. Тут уж «Распрягайте, хлопцы, коней» не пойдут. Не то настроение, не те должны быть слова и мелодии. И Садовский это понял. Тихо тронул он одну, другую кнопку баяна, положил голову на него и едва-едва слышно запел старую казачью, любимую песню Шолохова, так и видишь Шолохова, вроде сидит он в подпитии, обхватив голову руками, и вдруг эта песня откуда-то. Сапог с полноги перестанешь снимать, так и останешься с рукой на пятке, остановишься на половине дыханья, сердцем вздрогнешь, душа встрепенётся, заноеет внутри.

И поёт Садовский просто, задушевно, с казачьими мало-россизмами. Под баян:

*- Не для меня цветёт весна,
 Не для меня Дон разольётся.
 И сердце девичье забьётся
 С восторгом чувств - не для меня
 И сердце девичье забьётся
 С восто-с восторгом чувств - не для меня
 Не для меня текут ручьи.
 Звенят алмазными струями.
 Там дева с чёрными бровями,
 Она растёт не для меня.
 Там де - там дева с чёрными бровями,
 Она растёт не для меня.
 Не для меня цветут сады,
 Над яром роца расцветает,
 Там соловей весну встречает,
 Он бу - он будет петь не для меня.*



Душа моя поплыла, оторвалась от земли, ввысь куда-то взлетела. Просто невозможно стало, так сжало всего, так сделалось хорошо. И Дон, и дева, и сады, что расцветают, так и слились с Садовским, с его непрехотливым человеческим голосом, с простым, чуть с хрипотцой, исполнением, аж в носу, эх, да как защекочет.

*Не для меня пасха придёт,
Родня за стол вся соберётся.
«Христос воскрес!» Вино польётся,
Но энта жизнь не для меня.
Вино по рюмочкам польётся,
Но энта жизнь не для меня.*

Баян разливается, баян поёт голосом Садовского, тонет где-то в донской степи, куда уходит с конём казак.

*А для меня придёт война.
На фронт германский я умчуся.
Домой я больше не вернуся.
Там пу - там пуля ждёт меня одна.
И прилетит кусок свинца,
Он в тело белое вопьется.
Вот ен- вот энта смерть там ждёт меня.
Вот ен- вот энта смерть там ждёт меня.
Не для меня цветёт весна,
Не для меня Дон разольётся.*

Одна война германская не дошла сюда, так другая зацепила куском свинца белое тело казака. Вёшенская, Шолохов, Шукшин в образе солдата Лопихина в фильме «Они сражались за родину». Вот такая картина, как в кино, мелькают одни за другой за этой песней казачьей о судьбе человека.



Так всего меня и перевернуло.

Друг! - говорю я Садовскому. – Дай-ка и я попробую, я же ведь тоже казак.

Попробуй, - тронул Садовский белые кнопки баяна. «Ну что там? - думаю. - Оперные вещи, неаполитанские песни пою, как и про ямщика... Дятлова слышим, а за душу так не берёт. Поёт Садовский, хорошо- то как, и не знает ведь, как он поёт...» И вспомнились мне отчего-то «Певцы» Тургенева. Яков Турок в шинке. Поют певцы один и другой. За Якова рубаху последнюю сымешь, другого послушаешь, похлопаешь в ладоши, молчишь.

Витя, - говорю. - Как хорошо, что ты есть на свете. Что есть у тебя баян, что ты поёшь эту песню. Она у тебя изнутри идёт. Ты даже сам не знаешь, как выворачивает она всего меня, всю нашу человеческую натуру.

Хочешь, я тебе расскажу, откуда у меня баян, - завлажнелись у Вити глаза. - Всё в этих стихах, посвящённых отцу моему Фёдору Макаровичу.

- Послушай, на озере Чад

Изысканный бродит жираф, - говорю я таинственное, гумилёвское. - Дедушка у меня тоже Макарыч, Герасим Макарыч. И Садовский начал читать свои стихи про баян.

Баян

(в сокращении)

*Продав на ярмарке корову,
Не положив гроша в карман,
Отец купил в сельмаге новый
Известной фабрики баян.
Домой пришёл «уже хороший» -
Полураздет, полуразут -*


ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ • МАСТЕР ЛЕОНАРДО


И на вопрос: «Где, Федя, гроши?»
 Открыв футляр, ткнул пальцем: «Тут».
 Мать, где стояла, там и села.
 Но, зная мужа нрав крутой,
 Скандал затеять не посмела.
 Лишь прошептала: «Боже мой!»
 «Сын третий год без инструмента.
 У хлопца — к музе интерес.
 А ты всё ту же крутишь ленту.
 Послухай лучше полонез.
 А ну, сынок, заграй для батьки.
 Нажми на клавиши, сынок.
 Я отложил свои тетрадки
 И «жал на клавишу», как мог.
 Играл Огинского и Баха,
 Набор мелодий из кино...
 Отец стоял в дверях и плакал.
 Точнее - плакало вино.
 Потом, впервые не буяня,
 Обнял за плечи нежно мать:
 «Не думай, Вер, что я по пьяни, -
 Сынок играет на баяне,
 Большим артистом может стать.»

- А что, - сказал я, - молодец - отец.
 Купил баян тебе... Не Лист!
 Но всё же, Витя, ты артист.
 А мне мой дедушка Макарыч
 Всё скрипку собирался сладить вроде.
 Чертёж так и лежит, положен на ночь.
 А пролежал сто лет в комод.



- Опять экспромт? - сказал мне Виктор. - Помнишь, как «Горлинку» свою ты сочинил?

-Когда?

- Я песни клал тебе на ноты.

- А, помню... Прилетела горлянка и села на берёзу, что напротив наших окон, и перелетела в сад. Бросился я к ней с фотоаппаратом. А после стихи написал, наверно, за полчаса.

- И музыку минут за пятнадцать, - улыбнулся Садовский. - И я тут же положил их на ноты. Поём теперь её с тобой иногда, эту «Горлянку».

- Про меня хватит, - говорю. - про меня ты сказал достаточно. Я же пишу про тебя, Витя, про твои книги, стихи, циклы стихов, принимаю тебя как поэта. Скажу про такие, какие особо понравились мне. Например, «Пруд Савиной», про тургеневское Спасское - Лутовиново. Это живопись словом, микророман, любовь стареющего Тургенева к молодой актрисе...

-Ну, а «Четыре чубука?» - спросил меня Виктор Садовский. - Как они тебе показались?

- Аллитерация. Че-че... «Четыре чубука»... Как у Пушкина: «Очей очарованье...»

- Я всегда говорил, - рассмеялся Садовский, - что у тебя есть вкус. Значит, от тебя можно ожидать «Четырнадцать чубуков».

И что я скажу напоследок. Всяко у человека бывает. Мелькнёт он пред тобой, как метеор, но не исчезнет, так и останется в тебе, пока ты живой. Спасибо, дорогой! Что ты есть, что ты будешь во мне. Бывают люди - двойники, которые сходны внешне, а мы с тобой, наверно, сходимся внутренне.

Ты, Витя, спел мне старую казачью песню, любимую Шолоховым. Спасибо тебе за песню. Без неё я не осуществил бы мечты своей жизни, не написал бы оперу. Вот она на аудиокассете - «Голубая дивизия», где ты поёшь под баян эту песню «Не



для меня». Я вижу тебя, ты видишь меня, мы видим с тобой Русское поле под солнцем. И мы с тобой два казака, дети солнца, идём по нему и поём под баян.

*Будет добрым год — хлебород.
 Было всяко, всяко пройдёт.
 Пой, золотая рожь, пой кудрявый лён.
 Мы идём с конём по полю вдвоём.*

21 сентября 2013 года.

В парке старинном

Мне не терпелось в парк, в знаменитый Киреевский парк, навеявший некогда лучшие страницы в «Войне и мире» Толстому. И вынесло меня к входу полуподковой, к одиночному дереву, где на лужайке играли дети.

— Не смейте! — вскочил вдруг мальчуган лет восьми — тонкий и русоголовый. — Не смейте трогать её, она делает людям добро!

Не знаю, за какую такую живность горячо вступился мальчишка, но его искреннее желанье добра так и пронзило меня, засветило отсюда каждый мой шаг. Всё теперь было во мне, всё в элегической грусти: давность клёнов и тополей, бледная хилость подлеса, тщетно пытающегося выбраться к солнцу, но довольствующегося пока что лишь бликами. В сумеречных ал-



ляях царили спутанность и запустение.

Пруд, в тёмных водах которого ещё с времён войны, говорили, таится Смерть — ржавые мины, затянутые ряской, поросли кугой и тростником. Прислонившись к столетнему тополю, слышишь щекой верховую гулкость ствола, гудение пчёл в долблёной колоде, припрятанной кем-то - по обычаю предков — в развилке мощных суков, и перешёпоты листьев переходят в слова, а гулкость — гудение — в музыку. И ожидаешь чего-то, чего же? У тёмной воды на плотине скамейка. На скамейке забытый кем-то томик стихов: Тютчев. Аромат тонких духов. Знакомые, певучие строки:

Я встретил вас...

И музыка — гулкость сильнее, напевнее, звучит бархатным басом Штоколова; в такт всему поднимается и опускается плоскодонка у берега. Славно, наверно, плыть с шестом в этой лодочке, глядя с воды на просветлённые осенью клёны.

Солнце уже на исходе; по утрам серьёзнеет пруд, и только вершины сосен на карлике-острове, окружённом кугой, ещё держат розовыми стволами заходящее солнце. Налетавшись, грачи хлопчут в своей колонии, устраиваются на ночлег. И текут, всё текут вокруг кленовые листья, обнажая в былой гущине, в развилке ветвей, гнёзда синичек, малиновок, соек. Как увядающее мило!.. Да, но кем забыт тютчевский томик? Чей в нём аромат? А мысли уносят в ушедшее.

Человек стоит у окна, распахнутого в лунный парк. В человеке всё смутно, отрадно, всё в ликование, полнится близостью дорогого юного существа. А оно, божество это, рядом, над ним, Андреем Болконским; тоже смотрит в седой мудрый парк, отражённым зачарована светом. Безотчётно в такой миг желанье любви... Человек должен любить, должен искать человека, того, кто способен поднять в нем великие глубины, зажечь, озарить на годы всю его жизнь. Угадать, не пройти, озарить —



озариться любовью. В наши дни, когда властно железо, когда людей столько, сколько нет в парке листвы, очень важно найти человека, чтобы вместе — рука в руке — высветлять путь себе и другим... Она, конечно, придеё сейчас за забытым тютчевским томиком, — трепетная, зачарованная луной, Наташа Ростова. Пусть прочтёт, подчеркну ей вот это — самое нужное, важное:

Я встретил вас...

Каблучки затокали неожиданно рядом, по деревянному стоку, я едва успел скрыться в акациях. Обрадовавшись, она взяла тютчевский томик и тут же заметила пометки мои на странице. Улыбнулась. И огляделась. Она была хороша. Серые глаза опушались густыми ресницами, вольные темно-русые волосы ниспадали на плечи и оттеняли светлое платье; и вся она, живая и лёгкая, была так знакома, привычна, словно видена мною и раньше.

А назавтра я занял пост в акации чуточку раньше и видел, как уходила она. Оставив — теперь уже, вероятно, нарочно — на скамье тютчевский томик, она протокала каблучками по деревянному стоку и скрылась за поворотом. И вновь этот томик лежал у меня на ладони, вновь держались в нём тонкие запахи, возбуждали былое. Я подчеркнул ещё строчку и положил на скамью:

И то же в вас очарованье...

На этот раз она уже не улыбалась. С минуту чутко прислушивалась к гаму мальчишек, гонявших мяч поблизости на стадионе, провожала рассеянным взглядом прохожих и задумчиво смотрела, как догорает на соснах закат.

Наблюдая за ней, я пытался представить всю её жизнь: бо-соное детство, подруг её, первую, последнюю тайну, и что-то большое и тёплое колыхалось в груди моей. На сей раз в оставленном томике было подчёркнуто:



*Бывает день, бывает час,
Когда повеет вдруг весною...*

Не знаю, но мне показалось тогда от всех этих звуков, от всех этих слов, от органных регистров романса, вдруг вломившихся с силой в меня, очень душно, невозможно доле оставаться в акациях. Я вышел из укрытия своего и побрёл куда-то по берегу, по пересохшему гирлу пруда.

Бежит, торопится стёжка куда-то за сосновую кладку. Мимо колодчика, мимо шершавого клёна, опиленного наподобие головы лося; долго ещё лесной зверь следит за мной своим неусыпным зраком. Этот взгляд деревянный, патрон от «мелкашки», найденный у Барсучьей горы, отрезвляют, охлаждают, настораживают меня. Вот она, эта гора, превращённая в тир.

Часть кургана, лицом к тропе, изъязвлена пулями. На макушке плоско и солнечно. Здесь сирень, клён, акации, перевитые хмелем. Дальше спуск к отступившему пруду — хмурый, пологий и влажный. Ни травинки. Деревья с темнеющими стволами и корнями, словно мангровый лес. Повыше, в комелёк серебристого тополя, уходит барсучья нора. Глинистые края ещё остры, но чернь входа уже заткана паутиной... И я слышу вдруг выстрелы, чую, как пули впиваются в тело горы; эхо ходит от дерева к дереву, по аллеям, которыми вслед за Андреем Болконским когда-то бродил Лев Толстой, улетает за пруд к той скамейке, к тютчевским строчкам, к Её белому платью. «Тир. Неужели он нужен именно здесь?»

А на завтра я уже не пришёл. Не пришёл сюда и через день. А когда пришёл — похудевший и строгий, — то не стал забираться в акации: сел на скамью и стал ждать урочного часа. Она подошла мягко, неслышно и стала напротив, и протянула раскрытый тютчевский томик, и, вспыхнув, отвернулась по-



рывисто. Синим горело в нём:

*Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётся вы ранней и поздней порой...
Льётся безвестные, льётся незримо,
Неистоимые, неисчислимые.
Льётся, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной.*

Я взял ладонь её — она была легка и послушна. Мы шли, и вялые листья стекали у нас по плечам. Сквозили пустоватые клёны, в несметных, разноколёрных золотах под иогами пышнела земля. И ветер теперь проникал свободней в аллеи и остужал наши лица. В такие минуты кому не захочется показаться талантливым, умным, а у русских — уж так оно есть — всё начинается и кончается словом о родине, о будущем края родного, России.

— Вот парк, знатный парк. Сосны, липы и тополя.— Подстраиваясь под неё, перешёл я на мелкий шаг.— И знавал я одного садовода, так для него нет лучше дерева, чем, скажем, яблоня. Всё другое ему пустыки. Пустыки перед садом целый липовый парк...

— Как это у тургеневского Базарова, не изъясняйтесь слишком красиво. Не надо.

— Зарастает пруд. Видите, вон гирло его затянуло уже тростником, островки примкнули к самому берегу... А в Кочетах заиливает толстовский родник. Редет гамма тонко подобранных крон в Шестаковском парке, пропадает Воронцовский под Глазуновкой.

— Ну и что, по-вашему, парков теперь не сажают?

— Сажают. Конечно, сажают! Да всегда ли умело?.. Не пора ли, пока они ещё целы, всерьёз подумать о них, о старинных? Почаще бы обращаться к ним за советом...



Мы шли аллеей близко друг к другу. Иногда, в темноватых местах, она и вовсе придвигалась ко мне, и тогда даже на расстоянии за её тоненьким ситчиком ощущалось живое тепло. Смотрели на дымящийся пруд, на островные сосны, ловящие стволами закатное солнце, и мне, не остывшему от разговора, всё ещё воображались липы бело-колодезьские, кочетовские вязы, шестаковские ясени — все деревья парков старинных, от которых, коль глядеть на них снизу, валится шапка: так высоко они встали над нами, и с годами становятся и мощнее и выше — часовые нашей истории, нашей культуры...

— Вы помните? И то же в вас очаровапье, — оживляется она. — Что означали тогда для вас эти слова?

Да, у нас с ней, оказывается, уже много общего: этот пруд, эта дымка, эти воспоминания. Почему я тогда подчеркнул эту строчку?

— У вас есть сестра?

— Нет.

— Простите. Значит, вы — это вы?.. Сестра милосердия. Как когда-то Наташа Ростова. Наташа встречала Болконского израненным, уже побывавшим в деле, она...

— Сейчас я, наверно, спасла бы князя Андрея.

— Вы?

— Да, — она улыбнулась просто и нежно, и прижала пальцем над ухом тонкую прядку волос — Я работаю в той вон больничке. Прошу завтра с утра на приём.

— Лучше с вечера, как всегда.

Я поискал губами висок, но нашёл тонкие пальцы и прижался к ним — они задрожали и опустились на шею.

— Не надо, — шептала она, глядя в меня большими, потемневшими от волненья глазами. — Не надо.

И сбивалось дыхание: волны вновь и вновь выкатывались на камень, раздвигали сохнувшие тростники. И в такт им,



скрипя ржавой цепью, поднималась и опускалась лёгкая плоскодонка. Прислонившись к столетнему дереву, слушал щекой я верховую гулкость ствола, и белое платье переходило в туман, туман в сизую дымку, дымка растворялась над прудом. А гулкость сгущалась в мелодию, насыщалась словами, звучала бархатным басом Штоколова:

Я встретил вас...

Душе хотелось чего-то большого и сильного, достойного всего этого, такого родного и близкого. Перед глазами проходила Россия — вся в тальнике, полувесенняя, чуткая, когда прекрасные звуки ещё закованы в почках, готовые вырваться, пролиться миру зелёными шумами, напомнить тебе, что ты сын своей Родины.

Мы и любим своих россиянок за то, что они нам как часть нашей родины, словно корень её стержневой. Один из них ровень с нами — что на ратном кургане, что у огненно-мирных мартенов. Другие, как Ярославна, делят с нами горькую влагу из шелома. А третьи — да каждый по себе отыщет светильник — нам светят всю жизнь и зовут, вдохновляют...

— Я встретил вас,— сказал я ей, глядя в большие глаза, искренне радуясь, что всё бывшее уступало во мне место надеждам, а значит, и будущему.

Как и во времена Киреевского и Толстого, перед псовой охотой, в слободе перебрёхивались собаки-зайчатники, горланили, чуя рассвет, петухи. Первые машины со свёклой полоснули фарами по дремотным вершинам сосен. День начинался.

9 февраля 1979 года



Из книги «Духов День»

Родная речь

Ты хранись в нас, о русская речь,
Острый меч и испытанный щит.
Нам бы землю родную сберечь,
Русь святая себя сохранит.

Сохранит землю русскую сын,
Сохранит сына русская мать.
Будем ей, молчаливой, внимать
Под гортанные скрипы осин.

Под тележный заржавленный звук,
Под кровавые просыпи рос.
Был мой дедушка великоросс,
Не согласен на малое внук.

Ты хранись в нас, о русская речь,
Русь, Россия родимая, мать.
За нее уж пришлось в землю лечь,
За нее еще будем стоять.



Имя твое

Я долго думал, как назвать мне сына,
Событием грядущим возбужден,
Нося домой в кошелке апельсины.
И вот он, сын, на белый свет рожден!

И я назвал торжественно, по-русски,
Как искони в краю моем велось,
Его глаза, весь мир его неужкий,
Высокий лоб, фамильных ширей кость.

Достоинства, какие после сыщут, -
Он, знаю, будет счастлив и красив, -
Всю жизнь его на сотню лет, на тыщу
От изначала матери Руси.

Мне это имя - от нее награда
И вера, что не будет нам конца.
«Князь Игорь», - называла мужа Лада,
И просто «Игорь» у меня - отца.

В нем дань моя и преданность России,
К полету страсть, как у орла в крыле.
Где б ни был сын, куда б ни заносило,
Он в отчей успокоится земле.

Я долго думал, как назвать мне сына,
Событием грядущим возбужден.
И вот вдвоем - теперь уже мужчины -
Одной дорогой вышли и идем.

Не на прокат, не отнят и не выменен -
Твой княжий титул вечен на Руси.
Гордись, мой сын, своим славянским именем
И имя это с гордостью носи!



Деревянные кружева

В землю врос он - бревенчатый, низкий.
Повидал, видно, свадеб и слез.
Без заслуг /вне охранного списка/
Утвердили домишко на снос.

Подогнали к крыльцу бульдозер –
Задрожал, застонал каждый лист.
Как присох, краснощек на морозе,
Ясноглазый бульдозерист.

Что конек, что карниз, что дверцы –
Деревянные кружева.
- Что ж мы делаем, братцы, черти!
Вещь музейную на дрова?

Замолчали стальные кони,
Паренек на крыльцо шагнул.
И держал, как занозу в ладони,
Чей-то маленький детский стул.



Русь

И крестили по-всякому –
По башке, по башке,
Чтоб держать непокорную
Во державной руке.

Оттого-то могильные
Оставались следы.
Гольгѣбе - безотцовщине,
Ой, хлебнулось беды.

Но вставала упорная,
Семижильная Русь.
Что содеяно - помнила
Навсегда, наизусть.

Про дела чьи-то грешные
Скажет вдруг на миру.
Вся засветится правдою
На кровавом пиру.

Ведь сама в лихолетия
Не имела вины...
Мать сыночка - соколика
Поджидала с войны.

Возвращался израненным,
Покалеченным пусть,
Поднималась детишками
Неизбывная Русь!



Наливалась от семени,
Тяжелила поля.
От воронок, от воронов.
Очищалась земля.

Как с клюкою, родимая,
Побрела по колчам,
Так и ходит, вихляется –
Сумари по плечам.

Платье выцвело, выпрело,
Горб разверзился весь.
Стыдно, отпрыски, стыдно ведь
Хлебы бабкины есть.

Нам бы совесть бабусину,
Тот ковер-самолет...
Бабка встала, прогониста,
Бабка губы жует.

Бабка за сердце держится:
«Не кручинься, сынок.
Дай поглажу воробушка
И - за тот бугорок.

Шаг по шагу, по чуточку –
Так-то легче, двоим...»
Мать моя, Русь, ты, матушка,
Пособлю, устоим!



Бабкина медаль

В балке деревушка,
Пятеро калек.
В хате мать-старушка
Доживает век.

Яблоня да клуня
С матерью одне.
Сын ее Колюня
Где-то на Чечне.

Треснет ли лесина,
Вздрогнет мать с лица.
Ждет теперь вот сына,
Как ждала отца.

Слепенькие окна
Проглядела все.
От речей оглохла
В средней полосе.

Пересох колодчик,
Вот еще напасть.
Средств на это, впрочем,
Не имеет власть.

Хлебца ждет старушка,
Завезет почтарь.
А зав. почтой Нюшка
Принесла медаль.



Господи, помилуй!
Божья мать, спаси!
Ходит ветер стылый
По святой Руси.

Ветхая хатенка
Доживает век.
Бабка плачет тонко,
Тоже человек.

На тургеневском берегу

Под огнями, у старого клена,
Вечность плотно вмещается в миг.
Переходят под светом зеленым
Души жившие в души живых.

Содержание

У Толстовского родника	3
Казачи. Дети Солнца. Баян	13
В парке старинном	23
Родная речь	30
Имя твое	31
Деревянные кружева	32
Русь	33
Бабкина медаль	35
На тургеневском берегу	36

Серия:
«Орловские мастера слова»

ЛЕОНАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ
МАСТЕР ЛЕОНАРДО

Дизайн и верстка - Гнеушева А. А.

Издательский Дом «ОРЛИК»
(Орловская литература и книгоиздательство)

Издатель Александр Воробьев
Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г., выдана Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Заказ № 21 Подписано в печать 16.06.2015г. Тираж 100 экз.

Отпечатано на полиграфической базе Издателя Александра Воробьева: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20
Тел./факс (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-910-748-1205
E-mail: orlik.av.@yandex.ru
Сайт издательства: www.orlik-id.ru

